

А. ТУРКОВ

СРАЩЕННЫЙ ПРОВОД

О рассказах Владимира Тендрякова

ПОЧЕМУ никак не уходит из памяти именно этот эпизод, вероятно, даже не самый драматический на общем фоне нескольких рассказов Владимира Тендрякова («Новый мир», № 3, 1988)?

В разгар боя солдат-телефонист безуспешно взывает: «Клевер! «Клевер!»..» Но лишь «тупая немота в трубке», и надо под огнем отыскивать обрыв, сращивать провод, восстанавливать связь...

Сама посмертная публикация этих рассказов — тоже своего рода «сращивание провода», когда голос автора снова доносится до нас, «досказывая» то, что не удалось донести до читателя при жизни, и словно бы торжествуя над смертью.

И за твоею мглой безгласной,
Мы — здесь, с живыми заодно...
И кан бы ни был провод тонок —
Между своими связь жива.

Да уж кто-кто, а Тендряков поразительно свой для нас, для наступившего времени, которое он по мере своих сил старался приблизить своей работой...

И все-таки не только поэтому, наверное, невольно возвращаешься к этому батальному эпизоду, особенно когда вновь перечитываешь первые два рассказа,

«Лето 1929 года»...

Я поднимаю его почти со дна моей памяти, — так начинается «Пара гнедых», и схожим образом — «Хлеб для собаки»; «Лето 1933 года».

Перед нами воспоминания «зрелого и весьма искусственного человека», как аттестует себя рассказчик, поясняя, откуда берется в них «трезвая рассудочность изложения».

Иной давний читатель Тендрякова тут, еще не войдя «в курс дела», может мимолетно подумать, что подобная рассудочность действительно бывала свойственна этому автору, и к чему, дескать, на сей раз было о ней специально предупреждать.

Однако потом, прямо-таки ухнув в изобразимое писателем «воспаленное время», в провинцию, развороченную коллективизацией, — в деревню и пристанционный поселок, — начисто забудет о своих мыслях, а если и припомнит тендряковские слова о трезвой рассудочности изложения, то, пожалуй, даже пробормочет что-то вроде: «Побольше бы такой рассудочности...»

В рассказах речь идет о событиях, по поводу которых целые десятилетия стояла «тупая немота», как в смолкшей труб-

ке фронтового связиста. Рассказы Тендрякова, как и почти одновременно с ними созданная поэма Твардовского «По праву памяти», — попытка восстановить «связь» с этими временами во всей их реальности и драматизме, не опасаясь, что в результате перед нами возникнет нечто весьма не совпадающее с давно устоявшимися представлениями, как не похож на иных наших батальных героев солдат, чудом выбравшийся из адского пекла боя в рассказе «Донна Анна».

«...В траншею посыпалась земля, донесся влажный всхлип, и кто-то черный, взлохмаченный бесконечно свалился вниз, дернулся, поерзал и затих. Доносилось только тяжелое, со всхлипами дыхание...»

— Эй, милоч, ты ранен? — спросил Гаврилов.

Гость оттуда с усилием пошевелился, сел — черное лицо, яркие, почти обжигающие белки глаз, синие бескровные губы. Разлепив губы, сказал с влажным хрипом:

— Не знаю.

А вот другой выбравшийся — да что там: выбравшийся! — как бы вытщенный писателем из мертвой зоны забвения:

«Он лежал перед нами, мальчишками, — плоский костяк в тряпье... череп, хранящий человеческое выражение покорности, усталости и, пожалуй, задумчивости. Он лежал, а мы осуждающе его разглядывали. Две лошади имел, кровопилец!»

Это один из раскулаченных «куркулей» умирающий в том голодном тридцать гревшем под благовест победных реляций об успехах коллективизации...

В «Паре гнедых» есть сцена, поначалу кажущаяся заимствованной из многих прошлых книг о коллективизации:

«Они стояли друг против друга — мой отец и Антон Коробов. Мой отец широк, плечист, словно врос в землю расставленными ногами, взгляд его прям и тверд, многие мужики, стоящие сейчас в стороне, не под его взглядом, поеживаются А Коробов...»

Но тут сходство кончается: противник гоже картинен: «А Коробов — хоть бы что, задирает перед отцом бородку — легкий, статный ворот именинно чистой рубахи распахнут на груди, сапоги блестя твердыми голенищами и открытая улыбочка: возьми-ка меня за рубль двадцать, дом отнял, глядишь грозно, а мне — трин-трава!»

По чистосердечному воспоминанию рассказчика, он не только «тайно и безумно» любил коробовских красавцев коней, как и вся детвора, с обожанием относился к их лихому хозяину Взрослые этих восторгов отнюдь не разделяют: «С ним на палочке не гянишь — руки до плеч дернет, и все с улыбочкой — простачок».

И когда отец рассказчика, присланный в село устанавливать справедливость, круто приступил к делу, распорядившись, чтобы бедняки и зажиточные... поменялись домами, «хват» Коробов и на сей раз показал себя: «скинул, так сказать, с себя бремя частной собственности», по его ерническому выражению: отдал коней соседу, остальное добро частью бросил, частью эффектно пожертвовал на детский дом да еще написал письмо, в котором «все как есть от души объяснил», почему добровольно расстался с «презренной частной собственностью».

«За такое, Федор Васильевич, — говорит он отцу рассказчика, — по голове не бьют, а как раз глядят да приговаривают: досужий мальчик, послушливый — сердце радуется».

В какой френч, в какой китель обрядится Антон Коробов, мы из рассказа так и не узнаем, но, уж точно, не пропадет, как иные, валяясь в пристанционном скверике, как описанные в «Хлебе для собаки» куркули, не будет.

Лет тридцать назад Твардовский, вспоминая о подобных «хватах», сумрачно заметил: «А теперь они нас идеологи учат...»

Пока же он «ласково щурится в висок

Федору Васильевичу и умно издевается над его простодушным «головокружением от успехов», безошибочно нащупывая самые уязвимые места устанавливаемых порядков. Всеобщее равенство? «Ты — мне, я — тебе, а вместе мы Ване Акуле равны?» — с ехидцей интересуется он, и трудно, ох, трудно собеседнику тянуться с ним на палочке, ибо Тенков — пришлый, а Коробов-то все и всех тут до тонкости знает.

Горластый лодырь Ваня Акуля как раз и въезжает в коробовский дом. «...Ваня Акуля теперь над ним хозяин — доглядывайте» — в этих словах Коробова и насмешка, и угроза, и пророчество. За подтверждением его правоты дело не стало: Акуля начал с того, что пропил... железную крышу и шатался по селу, возглашая: «Нынче я хозяин! Бедня меня нету! Мне нова власть служит!»

Не всегда, далеко не всегда мы «доглядывали», чтобы подобные акули не выходили в «ги-ге-мон», как он сам горделиво выражается!

«Что-то тут не продумано... Что-то тут не совсем... Что-то тут у нас...» — как стал все чаще говорить Тенков, видя все происходящее вокруг.

Затем его перевели «в другой район на более ответственную работу», но вряд ли и там избавился он от этих гревжых мыслей — в том местечке, где происходит действие рассказа «Хлеб для собаки».

Этот районный «вождь» Дыбаков с его тудчеркнуто монументальной внешностью способен бестрепетно объяснить доходя-

ге-«куркулю», что с ним и поступили справедливо. У отца же рассказчика «в последнее время было какое-то темное лицо, красные веки». Конечно, ему невдомы все те цифры грандиозных потерь, понесенных тогда страной, которые с «трезвой рассудочностью» приводит автор в заключающих рассказы «документальных репликах», но дыхание «чужого» горя явно опалило и его.

Рассказ «Параня» открывается новой злобещей датой: «Лето 1937 года». И все в нем изображенное — какой-то трагический фарс, в котором переплелись, спрессовались самые уродливые черты того времени.

Только ли от летней жары «осоловел» железнодорожный поселок — или еще и от оглушительного, натужно-бодрого песенного трезвона, доносящегося из репродуктора и бесконечно славословящего одно и то же имя? «Хочущее колесо» людей, потешающихся над дурочкой Параней, прикатилось, конечно, из давних времен и нравов, но вот «репертуар» ее собственных высказываний быстро обновляется, когда в поисках, чем бы приструнить обидчиков, она со зверушкой чуткостью улавливает ту пугливую оторопь, какая возникает вокруг при упоминании о самом «мудром, родном и любимом».

Роли внезапно меняются: бывшие преследователи, да и все, кого Параня ни встретит, — в панике, а она знай наяривает на верно угаданной ноте: «Свирженье-покушенье!». Ножики точут!.. На родного и любимого...» И уже на одного за другим уставляется ее грязный палец, и шарахается тот, и — от него шарахаются, подозрительно вглядываются, перешептываются на его счет, и все это мотают себе на ус те, кому ведают надлежит, ибо — «на голос масс не реагировать просто преступно» (да и небезопасно — того гляди, сам заремишь...).

Признаться, после этого рассказа почти с облегчением переносишься в иную, военную пору, описанную в «Донне Анне». Впрочем, какое, конечно, облегчение! — «Лето 1942 года!» И все-таки думаешь поначалу: будут бои и потери, но зато, как сказано у поэта, «ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе». Да и младший лейтенант Ярик Галчевский со своей любовью к маме, Блоку и революционному и военным (точнее — предвоенным) фильмам — совсем из другого, кажется, мира, чем Параня с ее «мокрым

от слюней подбородком... и блуждающими каждый по себе глазами».

Но вот — миг тяжкого испытания, когда неразумный приказ требует от командира роты Мохнагова, «парнишки» с «сухой мочальной прядкой из-под пилотки» и с еще дающим петуха голосом, фактически обречь людей на полное истребление, а тот, уже бывалый вояка, всеми правдами и неправдами уклоняется от этого и... попадает под бдительное око Галчевского, истерически взвинченного предвкушением ратных подвигов.

Тут уж не косноязычное «свирженье-покушенье» является на сцену, а вполне гладко и «интеллигентно» высказанное страшное обвинение: «Ради спасения своей шкуры вы... Вы подлый трус!.. Вы изменник родины, Мохнатов!..» А в дополнении к этому словесному расстрелу — и настоящая очередь из автомата, и картинный «рыдающий» призыв в атаку, из которой почти никто не вернулся.

Поведав об этом бое-избиении, рассказчик замечает, что «это было началом нашего отступления». Совпадение случайное — и вместе с тем знаменательное! Ведь Ярик — плоть от плоти тех, кто воспитывал людей на шапказакидательских фильмах, кто, не внимая здоровым предупреждениям, в то самое лето слал части в наступление, когда надо было выждать, кто видел в осторожности измену, в трезвых коррективах намеченных планов — «свирженье-покушенье» на авторитет тех, кто их составлял и благодаря кому дорога к победе оказалась куда более кружной и долгой, чем могла бы быть.

Четыре рассказа, донесшие из дальней дали времени лица и голоса, чтобы мы вглядывались, вслушивались, судили, кто прав, кто виноват, восстанавливали историческую истину, да и просто не забывали о тех, кто жил на этой земле до нас...

Лица, лица — и среди них тот связист со смешной фамилией Небаба, который — помните? — «лежал всего в десяти шагах от траншеи, зарывшись лицом в пыльную полынь, отбросив левую руку на провод, пересекавший степь».

Сказать ли? Он кажется мне таким похожим на самого Владимира Тендрякова, тоже «сращивавшего» провод, ведущий через десятилетия, и смертью храбрых (бьются и в литературе так же!) павшего всего в нескольких шагах от перемен, которых так страстно ждал...